

451294

# НА ПЕРЕКАТЕ



РАССКАЗЫ

1959

87 (1000-1030-7)  
H-126 Кр.

# НА ПЕРЕКАТЕ

РАССКАЗЫ

451234. 2к



АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Барнаул 1959

И. ШУМИЛОВ

## КАК Я ВОСПИТАЛ ПЕТЬКУ

Я проснулся от стука топора.

— Кто это?— спросил я, сбрасывая с себя одеяло.

— Да Петька же, кому, кроме него,— ответила мать, возившаяся у печки.

Вышел на улицу. Семилетний плотник тесал толстую колдобину, которая лежала у тына.

— Ногу оттяпаешь, эй ты, плотник!

— Братка, сделай мне маленький топорик.

— Зачем он тебе?

— Хочу построить дом для Дружка. Правдешный, только маленький. Дружок лежал тут же, у ног Петьки и, словно понимая добрый замысел, любовно следил за движениями Петьки, благодушно позывал.

— Вот привезут в магазин топорики, я тебе куплю, а этим не теши, он тяжелый, острый.

— Их привозят с железными ручками, а мне надо с правдешным топориком. С правдешным не привозят.

— Затеял свое: с правдешным. Положи сейчас же топор! Сказано: привезут — куплю!

Петька нехотя втыкает топор в лесину.

— Умывайся и завтракать. Мама ждет нас.

— Я уже умывался.

Сделав зарядку, я иду во дворик, к подвешенному на столбе умывальнику. Вода в нем почему-то вязкая, с неприятным привкусом. Поднимаю крышку: в воде лежат скрученные хлыстики ветловой коры.

— Мама, что это такое?— кричу в открытую дверь

сенок.— Кто наложил в умывальник коры, во рту все связало?!

— Петька, кому кроме него, будь он неладен!

Петька выбегает из дому, выхватывает у меня из рук связку коры.

— Зачем ты положил ее в умывальник?

— Чтобы не высохла. Высохнет — тогда бич не сплетешь.

— Ты что же, другого места не нашел? И зачем тебе бич, пастухом собираешься работать? Какой универсал — и плотник, и пастух.

Петька молчит, насупился. В глазах, в кислой мне лица — недовольство. Внимательно разглядываю его. Нос от постоянного купания облупился, шелушится, и между ошметок старой, слезающей кожи розовеет новая, неизвестно которая по счету. Волосы и брови выгорели. Все тело черно от загара. Ноги грязноваты, на стопах, кажется, уже выводились «цыплята».

— На кого ты похож? — насмешливо говорю ему.

— Сам на себя, — дерзит Петька.

— Ого, да ты зубастый! Ладно, у меня ты много не назубатишь. Ох, замучилась, видимо, с ним мама! Придется взять его в свои руки. Ведь это тесто, из которого можно слепить все, что захочется.

Я вчера только прибыл в свое родное село. Больше месяца после окончания педагогического училища был в туристическом походе по родному краю. Сколько впечатлений. Зовущие к себе загадочные дали, ночные костры, купания, рыбалка, сваренная в котелке уха... А главное — ощущения той свободы и самостоятельности, которые появляются после окончания долгой учебы. Хотелось кричать: я вступаю в жизнь, годы корпения над учебниками позади!

В кармане у меня лежит дорогая книжечка-диплом об окончании училища. Новенькие синие корочки, и на них тиснуты серебряные буквы. Раскроешь корочки, а там черным по белому написано, что именно мне, Зеленину Григорию Ивановичу, тысяча девятьсот тридцать седьмого года рождения, присваивается звание учителя. Я сотню раз это прочитал — и каждый раз читать было очень приятно.

После завтрака, когда мать ушла на работу, сказал Петьке:

— Ну, вот что, братик, слушай. С сегодняшнего дня я сам берусь за твое воспитание. У меня ты много не пошалишь, будешь шелковый, по одной плашке будешь ходить. Понятно?

— Ага.

— А что понятно?

— Что ты меня научишь по одной плашке ходить.

— Не совсем так. Придет время — поймешь. А пока иди играй. Сильно хлопнув дверью, Петька стремительно выбегает на улицу. Кричу:

— Стой, вернись!

Петьки уже след простыл. Поискал в садике, на улице — нигде нет, как в воду канул. Пошел под гору, в огород: Петька булькается в луже, что-то хватается руками.

— Ты что там делаешь?

— Лягушу ловлю.

— На что она тебе? Не возись в тине, сейчас же выйди!

Жду его добрых десять минут, напоминаю, грожу. Он вылезает из лужи с трофеем: зажал лягушу в руке и несет напоказ. А сам измазан по самый пупок.

— Братка, а что она ест?

— Выбрось эту гадость сейчас же!

— Я ее покормлю, только скажи, что она ест.

— Этого еще не хватало!

— Кормить буду, — канючит он.

Силой вышибаю лягушу.

— Иди мойся!

Пока он моется, в волнении расхаживаю по комнате. А верно, чем же она питается, эта треклятая лягуша? Кажется, мы ее никогда и не изучали. Копаюсь в своих учебниках, но ничего не нахожу. Досадно. Впрочем, пустяки: я ведь не биолог, не зоолог или там еще какой-нибудь «олог». Просто учитель начальной школы.

— Ну, вот что, — говорю Петьке, когда он входит в избу, — запомни первое правило: когда выходишь из комнаты или, наоборот,ходишь в комнату, дверью хлопать нельзя, это дико, некультурно. Понимаешь?

Петька молчит, уставившись на свои ноги.

— Гляди мне в глаза, что ты, не видал свои заско-рузные лапы?!

Я знаю этот учительский прием. Данила Яковлевич, наш директор семилетки, бывало, им пользовался. Петька смотрит мне в глаза, однако во взгляде его не нахожу виноватости и раскаянья. Этакое безмятежное, чистое, стеклянное равнодушие.

Ну, братик, чертик в тебе сидит, вышибу я его! И, сделав строгое лицо, продолжаю распекать Петьку:

— Как ты выходишь из комнаты? Не выходишь, а вылетаешь... как пробка из бутылки... Как собака, сорвавшаяся с цепи!

— Я не собака,— бурчит Петька.

— Иди, да чтобы больше такого не повторялось!

Петька уходит на этот раз тихо.

После обеда пришли к нему друзья. Всей ватагой отправились они куда-то в нижние огороды. Притащили прутьев. Выхожу на улицу, одни обдирают прутья, другие плетут погонялки, а Петька строгают ножичком палку.

— Петька, ты что делаешь?

— Свистулька,— отвечает он, шваркая облезлым носом, на лбу блестят капельки пота. Какой-то малыш, раскрыв рот, следит за его работой.

— Руку порежешь, Петька. Зачем она тебе, свистулька, плети лучше бич.

— Я не себе, вот Толику.

Нож острый: то и гляди, отлетит у Петьки палец. Разве можно ему с таким ножом, ведь еще не умеет координировать движения рук. У меня замирает сердце... Принимаю смелое решение — отобрать нож. Конечно, это не так просто, без конфликта не обойдешься. Но не в том ли задача воспитателя: смело вступать в конфликты, если этого требуют высокие цели воспитания?

— Где ты взял нож?

— Дядя Коля подарил.

Тоже хорош, этот дядя Коля. Воспитатель нашелся. Кажется, уже не маленький, тракторист, а дарит ребенку черт знает что.

— Дай-ка сюда,— протягиваю руку. Петька отдернул нож, спрятал за спину. Испуганно смотрит на меня. Тут важен психологический момент. Чья воля сильнее: моя или Петькина? Держу протянутую руку. В моих глазах, вперившихся в Петькины, долж-

на быть полнейшая уверенность: усомнись я хоть точку в своей правоте — Петька заметит это и нож не отдаст. Кое-что я понимаю в психологии... Держу руку полминуты. Петька начинает колебаться.

— Мне дядя Коля насовсем подарил,— кисло тянет он. — Я ему много гаек насобиравал, а он мне — складешок.

— Ну, дай посмотреть.

— Ты не вернешь... Мамка мне разрешила...

Хитрый Петька: решил прикрыться авторитетом дяди Коли и мамки. А что мне эти авторитеты? У так называемого «дяди Коли» еще и усов нет, его самого надо воспитывать да воспитывать; что касается малограмотной мамки, то я вижу, что Петька сел ей на шею и ножки свесил.

— Ну, давай, давай нож,— настойчиво требую я. — Сделаю сам ему свистульку.

— Я бы тоже сделал, — плаксиво противится Петька.

Нерешительно, боязливо, словно расстается с каким-то сокровищем, Петька протягивает мне складень. Лезвие уже у меня в руках, но за рукоятку он еще долго держится.

— Не умеешь нож подавать. Суешь вперед лезвием. Это некультурно. Нож подают всегда рукояткой вперед, запомни это. Понятно?

Петька отворачивается от меня, плечи его вздрагивают. Притихшие мальчишки окружают Петьку. На меня не смотря.

Я вошел в избу, прилег на диван, задумался. На душе неприятный осадок: пообещал сделать свистульку, а как буду делать, если не умею? О лягушке мог еще прочитать в учебнике зоологии, о свистулке нигде ничего не найдешь.

Эх, была не была! Выхожу к ребятишкам и наигранно весело говорю:

— Давайте делать свистульку!

Первый подходит ко мне Толька, самый маленький.

— Вот из этого,— протягивает он пруттик.

Сажусь на бревно. Ребятишки сначала робко, потом все смелее подходят ко мне, вскоре оказываюсь в их кольце. Подсказывают, поправляют, спорят между собой. Все, кроме Петьки, держащегося поодаль,

захвачены моей работой. Первая свистулька у меня не вышла, пришлось забросить ее. Мои консультанты огорчены, но выражают надежду, что вторая обязательно получится. Получилась она немного глухой, сипловатой. Теперь я и сам знал, что третья будет хорошей. Ах, как хотелось вырезать свистульку настоящей, с чистым, залихватым голосом!

И вот она, многотрудная, готова. Пробую ее: свист громкий, высокий, приятный. Даю ребятишкам. Они свистят по очереди. А мне не терпится отобрать ее у них и свистеть, свистеть! Какое удивительное чувство испытываешь, когда сам что-нибудь смастеришь, пусть даже свистульку!

Петька не разделяет общей радости, стоит безучастный, молчаливый.

Утром мать, уходя на работу, спросила:

— Ну, как вы тут без меня, не скучаете?

— Я мам, с тобой на бригаду пойду, — сказал Петька.

— Зачем?

— Может, сусликов половлю.

Я почувствовал, что эта просьба Петьки пойти с матерью — ничто иное, как попытка на целый день ускользнуть из-под моего педагогического влияния, и решительно возразил:

— Петька останется дома, у нас с ним особый разговор.

— Тогда, сынок, оставайся, с Гришей будешь. Слушайся его, он у нас грамотный, одиннадцать лет учился.

— Одиннадцать классов не бывает, — солидно заметил Петька, — только до десяти.

— А вот и бывает, — говорю я.

— Врешь!

— Разве взрослые врут? Запомни, что так говорить взрослому нельзя, это грубо, оскорбительно.

— Зачем тогда это слово придумали?

— Его можно говорить только равному, например, своему товарищу.

— Мои товарищи не вруши.

— Тебя, кажется, не переспоришь.

— Я не спорю, а говорю. Большие, бывает, тоже



врут. Вот ты, братка, сказал, что ножик берешь только посмотреть, а сам не вертаешь.

— Не вертаешь! Научись говорить сначала! Видишь, мама, какой он: ему слово, а он тебе десять.

— Хватит вам ругаться, живите друзьями, — мягко советует мать.

Нет, друзьями мы так и не стали...

Сразу после завтрака Петька с товарищами ушел на рыбалку. Я сходил в библиотеку, взял книгу (да, кстати, разыскал там зоологию и проштудировал всю лягушку). В полдень рыбаки вернулись. Петька взял с полки кусок хлеба, насыпал в бумажку соли... Шарился в посудном шкафу, гремел ковшом в сенях... И вдруг исчез. Надо было обедать, но он не приходил. Дочитав главу книжки, я отправился на поиски. Случайно проходя мимо бани, услышал голоса. Открываю дверь:

— Вот вы где голубчики!

Петька машинально спрятал руку за спину.

— Что это ты прячешь, ну-ка покажи!

Он роняет на пол спички и только после этого протягивает мне пустые ладони.

— Покуриваете?

— Нет, мы уху варить будем.

— Баню сжечь?

— Да мы не здесь, в огороде.

В котелке, стоящем на полу, плавало несколько мелких рыбешек. Тут же валялись головки лука, кухонный нож, куча щепок и сухого хворосту.

— Мы всегда в огороде варим, — вмешался Петькин компаньон.

— Нашли из чего уху варить! Какая это рыба? Это же мальки, головастики! Надо ухи — спроси, я пойду куплю рыбы, мать сварит. Оголодал, что ли?! Ну-ка, выметайтесь отсюда!

Я взял котелок, выплеснул из него все содержимое. Подбежал Дружок, начал аппетитно уплетать Петькину добычу. Петька с разбегу пнул его. Потом со злости ударил ногой по котелку — подпрыгивая и дребезжа дужкой, котелок покатился. Петька быстро зашагал по дорожке вниз, в огород.

— Куда ты?

Он не оборачивался и не отвечал. Вслед за ним по-

шел и его товарищ, а потом и Дружок, проглотив последнюю рыбешку, поплелся за своими благодетелями. Вероятно, пес уже забыл про пинок, которым угостил его Петька.

— Петька, вернись, обедать надо!

Трепались по ветру белые, выгоревшие волосенки. Товарищ едва поспевал за Петькой. Дружок прыгал у Петькиных ног, ища ласки. Но Петька шел и шел, почему-то наклонив голову вперед... Вот ведь беда: у такого маленького, а тоже есть сердце!

В огороде меня встретил почтальон:

— Вам, Григорий Иванович, письмо.

«Григорий Иванович». Такое обращение, впервые услышанное, меня удивило. Да ведь в деревне уже знают, что я приехал с дипломом учителя.

Письмом меня вызывали на место работы, в соседний район. Начал собираться. Уложил все в чемодан, пересмотрел документы. Открыл синие корочки с серебряным тиснением и долго глядел на записи в них. Вдруг почувствовал, что той радости, которую испытывал раньше при чтении диплома, теперь уже нет...

Петька пришел только вечером, когда вернулась мать. Со мной не говорит. Да и я не захотел вступать в споры: зачем омрачать руганью последние часы пребывания в родном доме? Отъезд был назначен на утро.

Братик еще до завтрака куда-то скрылся. Его ждали, посылали в розыски мальчишек. Но Петька демонстративно не хотел меня провожать!

Как это получилось, что я не сумел с ним поладить? И как же буду работать там, в школе? Ведь на моих руках окажется около сорока таких вот, как Петька, мальчишек и девчонок...

И впервые после окончания училища в душу мне закралась тревога, почти страх, подобный тому, который испытывает турист перед высокой отвесной скалой. И надо, непременно надо, и хочется вскарабкаться на ее гребень, а страх гнездится где-то в подсознании, и требуется большое усилие воли, чтобы начать подъем. Только теперь я понял, что синие корочки, которыми я так гордился, пока еще мало что значат.

Учительское звание, оказывается, присвоено мне авансом, в рассрочку... Оплачу ли его, оправдаю ли?..

## МАТЬ

У нас, в верхнем течении реки, скоро наступит лето. Умытые вешними водами, ярко зеленеют пойменные луга. Просыхают дороги и тропы, что изрезали их во всех направлениях. Пышно разрастаются забоки...

Войдешь в сосновый борок, раскинувшийся на песчаных холмах недалеко от деревни, и услышишь, как со шелком, подобным треску сухого сучка под ногой, лопаются на ветвях рано созревшие сосновые шишки. Присмотришься получше и увидишь, как из шишки летят, стремительно кружась на своих крылышках, бурые семена.

Отходят золотые деньки охотников. В гулкие зори редееет птичий крик: дичи летает меньше. Охотничьи баталии не столь веселы, как в разгар весны. Вскоре они и вовсе затихнут до осени.

Грустно охотнику провожать эти последние дни весны, будто он расстается с временем молодости, азартом, горячностью крови.

— Поедем потешим себя в последний раз! — сказал мне Валентин Степанович Дубовой, страстный охотник.

У Валентина Степановича волосы вьются в крупные колечки, брови широки и густы, глаза светлые, веселые, лицо здоровое, без единой морщинки. Приземистый, ладный, он двигается уверенно, однако неторопливо.

Взял как-то дедушка десятилетнего Вальку с собой проверять волчьи капканы, и с тех пор охотничий зуб не на шутку начал тревожить мальчика. Он поднимал его с постели в самые глухие предутренние часы, кс на болота и топи, в сплошные заросли камыша. Много раз опрокидывался он из лодки, тонул в болотах, моx под дождем, ночевал у костра.

Теперь, когда Валентин Степанович занимает ответственный пост на селе, ему редко удастся вырваться на луга с ружьем: дела. Но иногда, устав от повседневной текучки, он оказывается бессильным перед прошлыми своими увлечениями. Ночью, в постели, вдруг нахлынут воспоминания, разбудят поток когда-то изведанных ощущений. Воображение начнет рисо-

вать в мельчайших подробностях картины, казалось, навсегда забытые...

На этот раз мы не ожидали удачливой охоты: утка уже садилась на гнездо, селезень был не очень активен. Уходила весна, утихали страсти.

Кряковый селезень (самая крупная и желанная в наших местах дичь) сидит теперь в тихих заводях, недовольно почавкивает, призывая бросившую его подругу. Но уже и сам не верит, что она придет. Вечером, когда белый шар солнца — один из тех, которые селезень видит на дне каждого озера, болота, лужи — когда этот шар подвинется по упругому небу и коснется верхушек кустов, селезень пойдет излетанными путями, будет садиться на знакомые плесы и там звать, звать...

Напрасно! Больше всего боится теперь утка этих призывов селезня, отца детенышей, которые яичками лежат под ее мягким горячим брюшком. Чутко прислушивается она к звукам, зорко следит за воздухом. Длинны ее часы бдения и неподвижности. Только в глухую темноту ночи отваживается она сойти с гнезда, чтобы подкрепить свое слабеющее тело. Селезень теперь ее враг: найдет — силой сгонит с гнезда, принудит к противной, нежеланной любви. Впрочем, ее тревоги недолги: великая страсть селезня скоро утихнет. Заберется он в густейшие заросли камыша и осоки, будет сидеть немо и почти неподвижно, сбрасывая старое оперение и облачаясь в новое. Заплещи рядом веслом, брось палку, ком грязи — ничто не смутит селезня.

Мы выехали из деревни после обеда. Сразу же за осинником начинались луга. В воздухе курился едва заметный парок; пахло землей, и к запаху этому примешивался едва уловимый аромат подросшей травы. От холодной еще воды тянуло сыростью. Ослепительно-зеркально блестели озера и протоки, загадочно синели дальние забоки. Здесь было царство птицы. Отовсюду неслись звуки — птицы пели на всех регистрах и со всеми возможными тембрами...

Да, в мире, кроме всех других радостей, есть еще одна — великая радость общения с красотой земли нашей!

Заговорили об охоте. Я пожаловался, что плохо стреляю: иногда спешу, иногда, наоборот, опаздываю.

— Если нервничаешь, волнуешься, лучше не стреляй, — советовал Валентин Степанович. — У меня случалось так: бью, бью — и все мажу. Тогда подъезжаю к берегу, выхожу на гриву и ложусь спать. Час сна — и после этого промахов уже не бывает.

Заговорили об охотниках.

— На каждую утку приходится, наверно, ствола по четыре, — говорю я.

— Пусть и по четыре, — замечает Дубовой, — охотник-то ведь не настоящий, балованный: боится насморка, по гривкам похаживает...

Валентин Степанович не любил «массового» охотника-дилетанта и частенько устраивал над ним беспощадный суд: и неженка он, и бражник отменный, спешащий, а бы как отстреляться да скорее приняться за свою фляжку, в которой булькает известное профилактическое снадобье...

...Над нами кружили чибисы. Один из них, надоедливо плача, долго сопровождал нашу повозку. Дубовой выстрелил, и, растопырив острые, не по туловищу большие крылья, птица упала.

— На безрыбье и рак рыба, — улыбнулся он, подбирая дичь. — Чем мельче птица, тем вкусней.

Паут-слепень сильно беспокоил лошадь. Савраска мотал головой, отмахивался хвостом. Когда пауты донимали сильно, он пускался вскачь. Остановив Савраску, мы били на его теле напившихся крови насекомых и трогались дальше. Конь весь был в мелких прожилках пота, в кровавых пятнах.

— К черту, дальше не поедем, лошадь измучилась, — решил Валентин Степанович.

Остановились на берегу протоки, в тени осин. Распрягли коня и, натаскав сухого валежнику, разложили костер. Когда появились языки пламени, набросали на них зеленых веток, молодой травы. Савраска совал голову в густые клубы дыма, благодарно поглядывая на нас.

Слева от дороги тянулась огромная лощина, в которой стояла вода весеннего разлива. Над ней мельтешили легкие струйки пара. Реденькая осока лезла из воды. Пошли вдоль лощины. Вдруг из осоки вылетела пара кряковых, я выстрелил — и промахнулся.

— Клади в сумку, до кучи, — засмеялся Дубовой.

Я забрался в кустики, что росли на островке, приготовился бить в лет, а Дубовой, отойдя шагов полтора, побрел на середину болота, к одинокой ветле. На плесике он разбросал чучела чернети и искусно замаскировался у ветлы.

Вскоре начался лет. Часто и сильно взмахивали крыльями чернети, со свистом пролетали чирки, прозванные нами за стремительность «реактивными». Но все они, словно сговорившись, летали или высоко, или стороной, в недосягаемости моего выстрела.

А Валентин Степанович тем временем постреливал да постреливал. Видимо, чернеть садился к чучелам, а чирки опускались поодаль: я слышал, как Дубовой пищал по-чирушечьи.

Когда неподалеку друг от друга сидят два охотника и один из них ни разу еще не выстрелил, то каждый выстрел соседа больно отдается в груди неудачника, словно это выстрел не по утке, а по его охотничьему самолюбию.

Я никогда не причислял себя к завзятым охотникам, и потому относился к своим неудачам снисходительно. Экипирован я превосходно. Это давало повод Дубовому частенько трунить надо мной: «Уж больно ты грозен, как я погляжу»... «Но реальной опасности для дичи не представляю, — в тон ему говорил я. — Хожу не ради добычи, ради спорта, убиваю две ценные вещи — ноги и время».

И все-таки, слушая выстрелы Дубового, я почувствовал, что червячок охотничьей зависти начинает поглаживать мое сердце...

Я видел, как Валентин Степанович слез с дерева, побрел по болоту, подбирая убитую дичь, снова направился к своей коряжистой ветле.

— Федор Петрович, идите сюда! — неожиданно закричал он. — Тут чудо!

— Какое там еще чудо?! Чудес на свете не бывает! — недовольно отвечал я. (Когда за поясом ни одной утки, едва ли какое чудо может поднять настроение).

— Идите, идите, не пожалеете!

Нехотя побрел, осторожно ступая по твердому, кочковатому дну болота.

— Вот смотрите, не чудо разве?

Мы стояли напротив дупла, образовавшегося в стволе дерева. Над головами висели ветки ветлы, а прямо против глаз наших — руку протяни и достанешь — сидела в дупле кряковая утка! Шея ее была втянута, но голову она держала прямо, гордо и насто-роженно; не мигая смотрела на нас светло-коричневы-ми глазками; широко раскинула крылья, прикрывая ими яйца, глубоко ушла в мягкое, пушистое гнездо.

— Фу, как пышно расселась, — сказал Валентин Степанович.

— Вы сидели на этой ветле, стреляли — и она не слетела?

— Как видите... Про охотников говорят, что они хвастуны и болтуны. Расскажи вот теперь об этом — никто не поверит, на смех подымут.

Утка мужественно продолжала сидеть в осажден-ном гнезде. Ни разу не дрогнула у ней бровка, не ше-вельнулось ни одно перышко — птица застыла в не-мом оцепенении. Ярко горели ее зоркие злые глаза.

Какая сила удерживала ее в гнезде под громом выстрелов, а теперь лицом к лицу с врагом? В ней, ви-димо, боролись два чувства: страх и материнство. И брало верх второе — горячее и непобедимое... Она, мать, была главной исполнительницей закона вечного обновления жизни, и она исполняла его, рискуя жизнью.

Восхищенные величием и красотой поступка пти-цы, мы молча отступили от гнезда. Я пошел на другое болото, а Дубовой снова влез на свою ветлу. Но те-перь ему не сиделось на дереве: охотничье любопыт-ство сгоняло его вниз, к утке.

Но одно соображение заставило Дубового действо-вать. Сидя на дереве, он видел, что около болота, пе-релетая с куста на куст, все время крутилась ворона. Дубовой знал ее повадки. Человек остановился, на-гнулся, что-то поискал на земле — после его ухода это место будет тщательно обследовано вороной: не гнездо ли рассматривал человек, не яйца ли птицы он обна-ружил? Сидит охотник в скрадке, ворона тут как тут, выжидает. Стоит нам уйти, как ворона разорит утку. Надо убить хищницу! Она осторожна: близко не под-летает. Дубовой решил разжечь ее аппетит: пусть уви-дит слетевшую с гнезда утку... Он протянул к дуплу

руку — утка слетела. Не изменив и на этот раз своим привычкам, она полетела недалеко — сразу же плюхнулась на воду, растопырила крылья, словно подстреленная, заплескала ими по воде, отбегая от дупла и отманывая охотника. «Бей лучше меня, но яйца не трогай». В гнезде лежало пять яиц.

Валентин Степанович выбрел на берег, вошел в кустарник, долго стоял в нем. Ворона не летела, подозревая подвох. Тогда охотник ушел подальше от этого места, спрятался. Осмелев, хищница опустилась на лакомую ветлу: Дубовой очень осторожно подкрался к ветле. Меткий выстрел оборвал мародерскую жизнь.

— И это до кучи? — сказал я, увидев ворону в руке у Дубового.

— Самый дорогой трофей! — заключил он.

Солнце село. Бесконечные тени от деревьев и кустарников, от прошлогодних будылин и болотных кочек застилали почти всю поверхность лугов. Редко виднелись светлые пятна. С прощальным лучом солнца и они исчезли, как исчезали и тени, слившись в одну сплошную, пока еще легкую, но все более густеющую. Мы подошли к повозке. Костер еще курился. Застоявшийся конь встретил нас тихим радостным ржанием.